

## Слово редактора

### *От редакции*

Уважаемые читатели, друзья и коллеги! Так совпало, что данным номером журнал «Политическая концептология» отмечает двойной юбилей: пятилетие существования журнала и семидесятилетие его главного редактора В.П. Макаренко. Сотрудники редакции поздравляют Виктора Павловича и желают ему здоровья, творческих успехов и бодрости духа. Надеемся, что в свои семьдесят лет журнал сохранит тот полемический задор и энергию, которую ему придал его интеллектуальный и духовный отец.

В редакции возникла идея посвятить данный номер творчеству В.П. Макаренко, однако эта инициатива снизу была совсем недемократически пресечена главным редактором. Тем не менее, в любых, даже самых авторитарных режимах существуют теневые возможности обойти прямые запреты начальства. Мы тоже рассчитываем найти способы в течение года «протащить» в журнал несколько статей, посвящённых В.П. Макаренко. Поэтому предлагаем всем интересующимся творчеством В.П. Макаренко присылать статьи по адресу: [konstantinov@sfedu.ru](mailto:konstantinov@sfedu.ru).

Для научного журнала пять лет — срок немалый. И мы сегодня хотели бы высказать свою признательность всем, кто работал над журналом эти годы, но по разным причинам покинул редакцию — А.В. Чибизову, И.В. Николаеву, А.И. Субботину. Благодарим также наших постоянных читателей и авторов. Нам ещё многое предстоит сделать.

## **РУССКАЯ ВЛАСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ФОНЕ НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

***В.П. Макаренко***

*Южный федеральный университет*

**Аннотация:** Автор применяет разработанную им концепцию троевластия к анализу советской модернизации. Сложившаяся в СССР система троевластия охватывает власть, собственность и идеологию и включает тренды терроризации, бюрократизации и модернизации. На основе новейшей литературы показана эвристичность этой посылки для описания современной России. Автор предлагает сделать память о государственном насилии в прошлом и осознание форм его проявления в настоящем исходным пунктом анализа всех социальных проблем, включая региональные.

**Ключевые слова:** модернизация, государственное и повседневное насилие в СССР/России.

В большинстве литературы процессы и результаты советской модернизации рассматриваются изолированно от государственного насилия. Нынешняя власть определяет Сталина как «эффективного менеджера», осуществившего модернизацию России [Соколов 2011: 735–737], и пытается построить неосоветизм на усечённом неороссийском пространстве [Неретина 2012]. Я буду оспаривать эту тенденцию. Эта установка позволяет видеть реальную проблему: даже среди бывших узников ГУЛАГа продолжается идеализация СССР. В итоге репрессивный режим становится объединяющим в отношениях и поведении людей. Вопреки собственным интересам многие нынешние граждане России стремятся сохранить устарелый государственный строй. На государственном и общественном уровнях слабо осознаны проблемы личной и институциональной ответственности, вины и необходимости объяснения советского государственного насилия. Эти проблемы важны для понимания советского прошлого и российского настоящего [Адлер 2011: 672–679].

В последние годы в России вышла серия книг (больше 100) под рубрикой «История сталинизма», в которой детально исследованы основные аспекты социальной жизни советского общества, в том числе специфика сталинской модернизации. Я частично прочел примерно 50 томов этой серии, а некоторые проштудировал. В статье обобщу выводы некоторых книг.

Это обобщение имеет предысторию. Я давно занимаюсь изучением государственного насилия. В 1970–80-е гг. я разработал свой вариант теории бюрократии на основе критического применения определённых сторон наследия К. Маркса, М. Вебера и В. Ленина к политической истории советского государства и опубликовал цикл работ на эту тему [Макаренко 2001]. На основе теории бюрократии и наблюдения за современной российской действительностью в 1990-е г. я создал теорию русской власти. Показал, что на протяжении всей истории России власть была связана с собственностью, а начиная с XVIII в. в стране постепенно возникал феномен троевластия. В XX веке он окончательно оформился в систему «власть-собственность-идеология». Сходные взгляды высказывают и другие учёные [Пивоваров 2006; Олейник 2011].

Если соглашаться с различными вариантами философии истории (что само по себе дискуссионно, но сейчас я эту проблему не рассматриваю), то терроризация восходит к Ивану Грозному, бюрократизация — к Петру I, модернизация — к Александру II. Независимо от разных концепций исторического процесса (здесь споры тоже неизбежны) я предлагаю **рассматривать терроризацию, бюрократизацию и модернизацию как органические составные части одного и того же процесса осуществления власти**. Русская власть всегда навязывала и навязывает до сих пор обществу эти тенденции ради собственного усиления, а не решения социальных задач и достижения социальных целей [Макаренко 1998].

Этот общий тезис можно проиллюстрировать в отношении разных периодов, регионов и отраслей хозяйства. Цель статьи — на основе новейших исследований показать, как в истории Советского Союза были связаны тенденции терроризации, бюрократизации и модернизации. Общую посылку можно сформулировать так: под воздействием природно-климатического фактора в России возник специфический тип государства, которому не были свойственны хозяйственно-экономические функции. Роль государства в создании всеобщих условий производства всегда была минимальной. Господствующий класс уже на ранних этапах российской государственности был военизированным. Чем меньше был объем создаваемого обществом прибавочного продукта, тем сильнее проявлялась роль государственного насилия в процессе изъятия и концентрации этого продукта. В результате война стала средством производства. Полюдь как форма бескомпромиссного военного господства при систематическом изъятии прибавочного продукта способствовало перерастанию налоговых функций в общегосударственные. Русская государственная машина стала «странствующей». По этой причине центральная власть стала главным вершителем дел на местах. Важнейшим элементом такого

стройка был институт «власти-собственности», который стал основой жестокого механизма извлечения совокупного прибавочного продукта в результате колонизации Московским княжеством, а затем Российской империей евроазиатской ойкумены [Милов 1998: 554–572].

Из множества возникающих при таком подходе проблем я рассмотрю две: государственного насилия; отношения между насилием и повседневностью.

### *Проблема государственного насилия*

5–7 декабря 2008 г. в Москве состоялась первая (в России) международная научная конференция по истории сталинизма. В ее работе приняли участие специалисты по истории сталинизма из России, европейских стран, США, Канады, Японии. Политические изменения в России и частичное открытие архивов способствовали прогрессу в изучении этой проблемы. Одновременно углубляется разрыв между научными и обыденными представлениями граждан России о сути сталинизма. В СМИ России и псевдоисторических изданиях реанимируются концепции Краткого курса истории ВКП(б). В лучшем случае эксплуатируются аргументы хрущевской десталинизации. Распространяются рецепты возрождения России путем авторитарной модернизации и пропаганды исторической оправданности насилия, многомиллионных жертв и социальных чисток.

Работа конференции была посвящена ключевым проблемам истории сталинского периода, в том числе проблеме модернизации в условиях тотального государственного насилия [История сталинизма... 2011]. Отмечу лишь некоторые продуктивные идеи.

А. Рогинский показал [История сталинизма... 2011: 21–27], что сталинизм — это система государственного управления, главной характеристикой которой является насилие как универсальный инструмент решения любых политических и социальных задач. Такое насилие обеспечивает централизацию управления, разрыв горизонтальных связей, высокую вертикальную мобильность, жёсткость внедрения идеологии при лёгкости ее модификации, большую армию субъектов рабского труда ради модернизации. Память о сталинизме — это память о государственном насилии. Но нынешняя память о сталинизме в России иная.

Это почти всегда память о жертвах, а не о преступлении государства. Как память о преступлении она не отрефлексирована. До сих пор не принят правовой акт, в котором государственное насилие было бы названо преступлением. Против участников государственного насилия в новой России не было ни одного судебного процесса. На уровне личных воспоминаний это уходящая память, поскольку последние свидетели сталинской модернизации уходят. На смену памяти-воспоминанию приходит историческая политика — целенаправленные усилия политической бюрократии по формированию устраивающего ее образа прошлого. Этот процесс идёт с 1990-х гг. В итоге такой политики в массовом сознании существуют два конкурирующих образа сталинизма: как преступного режима, на совести которого десятилетия государственного насилия; как эпохи модернизации, побед и свершений, в первую очередь в советско-германской войне.

Эта война стала несущей конструкцией, на которой была переорганизована национальная идентификация. Память о войне как трагедии подменена памятью о победе. В итоге память о государственном насилии оказалась на периферии массового сознания. В России 800 памятников сталинскому террору. Но все воздвигнуты общественностью и местной администрацией. Федеральная власть не участвует в мемориализации террора. Уклоняется от легитимизации болезненной темы. Изданы крошечными тиражами около 300 томов региональных книг памяти. Но они почти не формируют национальную память. Содержание каждой из них являет собой образ местной беды, а не общей катастрофы. Федеральная власть и здесь уклоняется от своего долга. До сих пор нет музея государственного насилия. В школьных

учебниках по истории оно показано как исторически детерминированный и безальтернативный инструмент решения государственных задач. Такая концепция не допускает постановки вопроса о преступном государстве и субъекте этого преступления: «Это не результат установки на идеализацию Сталина, а подобное следствие решения другой задачи — утверждения заведомой правоты государственной власти. Она выше любых нравственных и юридических оценок. Она неподсудна по определению, ибо руководствуется государственными интересами, которые священнее интересов человека и общества, морали и права. Правота всегда на стороне государства... Эта мысль пронизывает новые учебные пособия от начала до конца» [там же: 27].

Л.Д. Гудков проанализировал миф о Сталине [Гудков 2011: 680–696]. Как показывают социологические опросы с 1996 по 2010 г. (в ходе которых респондентам были заданы вопросы «Как бы Вы оценили роль Сталина в советской истории, истории нашей страны?» и «Как Вы в целом относитесь к Сталину?»), положительное отношение к Сталину выросло за счет «болота» — опоры нынешнего режима Путина. Единственной влиятельной группой, которая оказалась податливой для нынешней пропаганды, стали люди с дипломом о высшем образовании, сервильная и государственническая «элита» страны.

В 2009 г. большинство (60%) заявили, что ничем нельзя оправдать понесённые при Сталине жертвы. Однако основная масса населения России не решается признать саму идею суда над Сталиным как носителем высшей власти. Давление пропаганды проявляется главным образом как представление значительной части людей о том, что есть некое авторитетное мнение, которое приобретает характер объективной реальности благодаря тому, что его высказывают власти. Поэтому создаётся впечатление, что его разделяет неопределённое множество людей. И это фиктивное «мнение большинства» оказывает влияние на тех, у кого нет собственной моральной позиции в отношении прошлого и настоящего.

В 1990-е гг. возникла обширная тривиальная литература о Сталине, его привычках и вкусах, окружении и любовницах, в которой Сталин подан как национальный гений и вождь, спасающий Россию от распада. На основе социологических опросов Л. Гудков делает выводы о функциях ведомства пропаганды: «Она не ведёт дело к реабилитации тоталитарного режима или его вождей, но она подрывает основы моральной оценки прошлого и настоящего, лишая смысла саму идею ответственности власти за проводимую ею политику... Нынешняя пропаганда и манипулирование массовым сознанием направлены исключительно на поддержание состояния аморализма и беспринципности, равнодушия к общественным вопросам и отчуждённости от политики» [там же: 687]. Короче говоря, произошла реанимация мифа о «великом Сталине».

Л. Гудков выделяет четыре этапа сталинского мифа: сложившаяся при Сталине и просуществовавшая до его смерти система образов и риторических клише; хрущевская критика культа личности Сталина; горбачевская гласность и перестройка. Нынешний этап начинается в 1999 г. Приход Путина к власти ознаменовался рядом его демонстративных жестов по отношению к прошлому: заявления подчёркнутого уважения к Сталину, деятелям КГБ, восстановлением сталинского государственного гимна.

В целом сила Сталина заключалась в терпении, цинизме, эклектическом смешивании и использовании любых идей для достижения нужного эффекта в нужное время, мстительности, свободе от любых форм морали, принципов и убеждений, сдерживающих обычных политиков догм, личных связей и традиционных ограничений. Гудков предлагает называть Сталина не модернизатором, а рутинизатором (в веберовском смысле) послереволюционной эпохи. Поэтому отношение к Сталину (мифу о вожде, отце народа, гениальном учителе и полководце и т. д.) может служить индикатором степени модернизированности российского общества. «Настойчивое сохранение фигуры Сталина... говорит лишь об отсутствии у нынешнего

руководства страны каких-либо моральных и ценностных представлений, без которых невозможна какая-либо последовательная политика модернизации страны» [там же: 696].

Б.С. Илизаров использует концепт социального конструктивизма для описания специфики сталинской модернизации [Илизаров 2011: 615–631]. Социальный конструктивизм — это проектное строительство нового государства или радикальное переустройство базовых институтов традиционного общества, осуществляемое лидером или группой лидеров.

На основе разбора всех инициатив, планов и проектов Сталина Илизаров показал, что Сталин до конца своих дней был не творцом, а эпигоном; до середины 30-х гг. эпигоном Троцкого, а затем, до конца жизни — Гитлера и русского царизма. Своеобразие сталинских решений состояло в том, что они **сочетали в себе элементы социального новаторства, глубинной архаики и поверхностного утопизма. В этом суть советской модернизации.** Сталин осуществил модернизацию (коллективизацию, индустриализацию и культурную революцию) с помощью аппарата насилия.

Сталин — это бюрократ-самородок, взнуздавший партийно-государственную бюрократию ее же методами. «Мало кто осознавал, — пишет Илизаров, — что новым и невиданным эксплуататором стал отныне трёхглавый «дракон»: партия, армия и спецслужбы... В наше время одна из выживших голов этого дракона пытается восстановить хотя бы в общих чертах исходный сталинский проект. Но эпигоны эпигонов не способны создать ничего жизнеспособного даже ценой пролития очередной порции невинной крови» [там же: 622].

Троцкий точно определил Сталина как интенданта и эпилгона Гитлера. Под влиянием идей «консервативной революции», перенесённых на советскую почву, в идеологии, культуре и внешней политике возродились дореволюционные имперские ориентиры, цели и фобии. Царские сатрапы и поработители соседних народов (Суворов, Кутузов, Нахимов и др.) вновь стали символами имперской доблести. Новый поворот в идеологической ориентации был окончательно оформлен в докладе начальника Главного политического управления РККА Л. Мехлиса накануне войны перед выпускниками военных академий. Доклад был сделан с подачи и одобрения лично Сталина. Более ранним символом идеологического поворота стала всесоюзная кампания по разработке новых учебников по гражданской и партийной истории. Она завершилась выпуском школьных и вузовских учебников, Краткого курса, в которых прославлялись строители, охранители и «собиратели» Российской империи — от Дмитрия Донского до Сталина. Сегодняшние эпигоны Сталина тоже стремятся создать канонический учебник по истории.

Сталин создал и реализовывал проект национально-имперской иерархии. На высшей ее ступени мыслился русский народ, ниже — украинцы и белорусы, затем грузины и азербайджанцы, затем мусульманские народы Средней Азии без градации, затем тюркские народы Поволжья, Сибири и т. д. С довоенных времён на низшие ступени были поставлены поляки, прибалтийские народы, а во время войны — немцы Поволжья. Ещё ниже находились народы-враги — репрессированные народы Кавказа и Дальнего Востока. После войны на позицию народа-парии все методичнее оттеснялись этнические евреи. Сталин не успел завершить свою грандиозную имперскую постройку, но ее импульсы ощутимы до настоящего времени [Зубок 2011].

В советскую эпоху в СССР культивировалась марксистская модель общественного развития, согласно которой человечество восходит от одной ступени цивилизации (формации) к другой, более высокой, через цепочку переворотов и революций. На практике советское общество сложилось как многослойное, многоформационное образование. Все классические марксистские общественно-экономические формации 70 лет одновременно сосуществовали в нашей стране.

Советское государство включало следующие классы людей: рабы; феодально закрепощённые крестьяне; классические пролетарии; отдельные сословия, живущие в условиях социализма; малые прослойки, достигшие коммунистического благополучия. Советское рабство — это система ГУЛАГа, возродившая классическое рабство в современную эпоху. До 1953 г. в государственных рабах (по заниженным подсчётам чекистов) значилось более 3 млн. человек. Это подлинная государственная собственность, настоящий общественный класс людей, который кроме пайка ничего не имел. Его можно было в любой момент убить, уморить голодом. Даже списки врагов народа были заимствованием «проскрипционных списков» в Древнем Риме. Что касается советских крестьян и рабочих, то «...самая беспощадная капиталистическая форма эксплуатации трудящихся в XX в. была именно на советских фабриках и заводах» [История сталинизма... 2011: 629]. Значительная часть интеллигенции и мелких служащих была пролетариями умственного труда. Но малая часть интеллигенции, верхушечная часть партгосаппарата, высокое армейское офицерство и большинство работников спецслужб жила при социализме. Высший эшелон власти жил в условиях реального коммунизма [Кондратьева 2011].

В целом ни к модернизации, ни к марксовому социализму и коммунизму советское государство не имело никакого отношения. «Сталин соорудил общество, обречённое на скорое и неизбежное вырождение. Современный «мягкий», «либеральный» сталинизм с его «собранием земель» и «вертикалью власти» неизбежно завершится очередным распадом, и на этот раз распадом России» [История сталинизма... 2011: 630].

А. Блюм рассматривает государственное насилие по отношению к инженерам и учёным — главным агентам модернизации [Блюм 2011: 78–92]. Чекисты стремились отнять у них эту роль. Мишенью репрессивного аппарата становится не отдельный индивид, а сеть знакомств и контактов, рассматриваемая теперь как контрреволюционная, террористическая или иная группа. В этом контексте А. Блюм ставит проблему изучения особой полицейской точки зрения, «основанной на подозрении, так как слежка не означает простого, нейтрального наблюдения и описания увиденного. Она предполагает дальнейшую интерпретацию, ведущую к появлению подозрений в отношении индивида» [там же: 84]<sup>1</sup>. Такое понимание способствует выдвиганию политической полиции на роль главного модернизатора — ключевого агента социального бытия.

Матрица криминализации повседневности началась с Шахтинского дела, затем была применена в академическом деле. На основе анализа этих дел, в которых ГПУ как раз преследовало инженеров и учёных, А. Блюм выделяет несколько этапов, которые привели к образованию полицейской точки зрения на факты: 1. Публично оговаривается известный человек (академик С.А. Ефремов), которому предстоит оказаться в центре всех обвинений в заговоре. Начинается кампания в печати, цель которой — не только бросить тень на будущего обвиняемого, но и изолировать его от окружения и общества в целом, оставив ему отношения только с самыми близкими. 2. На втором этапе идёт идентификация, арест и допросы человека (студента), не имеющего значения в мире науки, но близкого к главной жертве и призванного послужить опорой для готовящегося следствия. 3. Затем происходит арест главного действующего лица. На этом этапе происходит анализ и интерпретация прошлого в новых терминах,

<sup>1</sup> Эта точка зрения базируется на трансформации подхода к интерпретации фактов как повода для репрессий. В 1920-е гг. происходит трансформация оснований для репрессий. Вначале причиной недоверия к человеку были его социальное происхождение или реальная принадлежность к небольшевистской или оппозиционной партии. Затем под подозрение попадают отношения между обвиняемым и его окружением. Цель ослабления любого круга связей — создать общество, в котором остаётся только один тип лояльности — верность по отношению к Сталину, и где связи солидарности внутри групп рассматриваются как угроза. Согласно полицейской посылке, подвластным миром должна править нестабильность.

переосмысление, осуществляемое «совместными» усилиями следователя и обвиняемого. 4. Расширение круга подозреваемых, уничтожение родственных, дружеских, профессиональных связей. 5. Арестам придаётся огласка, выливающаяся в «постановку» показательного процесса.

Для понимания допросов и обвинений как необходимой части следственно-прокурорской деятельности в целом Блюм выделяет три формы идентификации поднадзорных индивидов:

1. Биографическая идентичность описывает жизненный путь человека, информацию о главных событиях в его судьбе (географические перемещения, профессиональная мобильность, принадлежность к партиям и организациям).

2. Идентичность действия характеризует индивида на основе его занятий, мнений, повседневной жизни.

3. Идентичность на основе связей представляет собой главный элемент в наблюдении за индивидом, а затем в его описании. Эта форма означает, что для характеристики человека используются не его профессиональные, социальные или политические атрибуты, а описание всей совокупности встретившихся на его пути людей, частоты и характера этих связей.

В настоящее время в общественном сознании сетевой подход является интеллектуальной модой. Согласно этому подходу, человек есть нечто большее, чем просто индивид. Он — клубок связей, центр определённой сети, в которой сходится и расходится множество связей и отношений, крепких и слабых, эпизодических и постоянных. Форма и охват этих связей (на уровне региона, страны, мира), их частота и природа (подчинение, уважение и др.) представляют собой элементы этой сети.

После революции происходит переход от идентичности действия, которая должна быть основой любого обвинения, к биографической идентичности. После шахтинского процесса в центре обвинения оказывается идентичность, основанная на связях. Стигматизации подвергается именно профессиональная и сетевая солидарность. С момента установления господства такой логики вся работа чекистов сводится к раскрытию идентичности, основанной на связях, и не нуждается ни в каких доказательствах вины. В результате никаких границ для репрессий не существует. Одновременно снимается различие между научным и полицейским пониманием социальных фактов.

Ж. Кадио показал, что категории науки в 1930-е гг. многое переняли у административных и полицейских организаций [Кадио 2011: 632–639]. Для доказательства он проанализировал репрессивный порядок, в котором национальность вызывает подозрение, однако явными критериями для преследования становятся биографии индивидов, сети отношений, статус беженца. Вообще само обнаружение национальных различий — это знание на службе государства. Учёные первыми сделали попытку определить национальные категории в надежде снизить национальную напряжённость в ее социальных и политических проявлениях. Объективное определение национальной принадлежности осуществлялось через перепись населения. В результате дискуссий была разработана статистическая методика: каждый индивид должен был называть сначала свой родной язык, затем национальность (начиная с 1917 г. в России). Все это имело целью справедливое разрешение территориальных конфликтов и реализацию принципа национальностей. Тем самым статистики в начале века противопоставляли объективную национальность (проявляющую себя в образе жизни, культуре, языке) административной национальности и избегали разговоров о политической национальности.

Большевики переняли принцип национальностей и стали строить свою федерацию. Чтобы учесть все разнообразие национальных групп, этнографы, обрабатывающие данные переписей 1920-х гг., дали точную картину всей совокупности этнических групп (около 200). Но при разработке переписей Сталин распорядился, чтобы 60 национальностей, получивших

административный статус, были перенесены в научный список национальностей. Этнографы и статистический аппарат подвергся чисткам. В итоге мелкие меньшинства потеряли всякую видимость. В отдельную рубрику были выделены трансграничные национальности. От переписчиков потребовали с особой тщательностью переписать те группы, основное население которых проживало за границей. Эти группы вначале стигматизировались, затем репрессировались. «В конце 30-х гг. причисление к той или иной национальности опиралось уже не на науку, оно стало важнейшей функцией полицейского государства, которое разработало многочисленные меры контроля, депортации людей, принадлежащих к определенным национальностям, считавшимися сталинским руководством в целом подозрительными» [там же: 634]. В результате советское гражданство стало бюрократической фикцией. «В настоящее время не ведётся ни одного крупного исследования на тему права советского гражданства, где рассматривались бы процессы приобретения и потери советской национальности» [там же: 638].

Л. Дробижева констатирует: вчера ещё гражданская идентичность понималась как верность советскому строю и государственному руководителю. Примерно  $\frac{2}{3}$  взрослого населения прошли социализацию в постсталинские времена, но их взгляды сохранили имперскую компоненту. Имперская идеология — это не столько представление о необходимости удержания периферийного пространства, но и идея государственной доминанты в жизни общества, служение государю, вождю и учителю и вообще первому лицу государства. Транслируется также советское представление о жизни в «кольце врагов», взгляд на человека как на винтик в политическом механизме [там же 608–614].

Е.А. Осокина на основе анализа концепции «повседневного сопротивления», которую разработал Джеймс Скотт для описания поведения крестьян<sup>2</sup>, ввела понятие сопротивляемости как формы социального иммунитета. Это понятие помогает описать сопротивление не чужим оккупантам, а «своей» власти. В обществах типа СССР и нацистской Германии трудно провести границу между неповиновением, приспособлением и сотрудничеством с властью [там же: 387–406]. Но она необходима в аналитических целях.

Л. Виола пишет, что хотя партия публично провозглашала коллективизацию «социальным преобразованием», в действительности же она оказалась войной культур, гражданской войной между государством и крестьянством. Крестьянская поддержка коллективизации была ограничена незначительным меньшинством сельских жителей. В результате насилие стало главным механизмом внедрения государственной политики в условиях мощного крестьянского сопротивления» [Виола 2011: 103].

### *Государственное насилие и повседневность*

В капитальном исследовании Карла Шлегеля зафиксирована асимметрия между осмыслением исторической катастрофы в СССР и осмыслением нацистских преступлений. Мир знает Дахау, Бухенвальд, Освенцим. И не знает, что такое Магадан, Воркута, Колыма. В отношении к жертвам советской диктатуры господствует безразличие. Оно культивируется движениями, которые ставят своей задачей рационализацию советского прошлого. Рационализация обычно отождествляется с модернизацией. Вследствие этого тоталитарное прошлое все ещё не выяснено. «Этот процесс ещё далёк от завершения, и он найдёт свой счастливый конец лишь в том случае, если Лубянка — символ безграничного презрения к человеку, символ власти убийц в центре Москвы — однажды, в не столь уж далёкий день будет превращена в музей и место поминовения» [Шлегель 2011: 7].

<sup>2</sup> Повседневное сопротивление — это реакция на подавление государством.



Для сопротивления асимметрии в изображении советского и нацистского прошлого, а также любым формам рационализации Шлегель разработал концепцию тотальной истории. Тотальная история — это сведение воедино надежды и насилия, мечты и террора: «Никогда я так явственно не чувствовал границ возможности поведать историю, как при попытке свести воедино диаметрально противоположные опыты террора и мечты. Но, может, все-таки стоит лишиться дара речи и онеметь, чтобы вообще начать эту работу?» [там же: 8]. Проследим основные тенденции превращения насилия в универсальное средство, пронизывающее все сферы жизни общества, подвергаемого модернизации.

Обычно считается, что насилие было направлено преимущественно против членов партийно-государственного аппарата. На деле Большой террор 1937 г. был направлен в первую очередь против простых людей, не входящих в партию, которых отбирали по социальным и этническим критериям и планомерно уничтожали.

В целях изображения этого феномена Шлегель использует ряд методологических средств, разработанных в других сферах гуманитарного знания — теорию хронотопа М. Бахтина, методы фланирования В. Беньямина, эстетику и технику монтажа С. Эйзенштейна и магический реализм М. Булгакова. Все эти средства применяются для описания истории одновременности. «Самое большое преимущество состоит в немом принуждении, которое осуществляет сама привязка событий к конкретному месту. История, соотнесённая с местом или пространством, всегда представляет собой признание одновременности неодновременного, сосуществования и совместного присутствия несовместимого. Место гарантирует комплексность. Стереоскопический взгляд направлен на обзор, более соответствующий разнородности мира, нежели напряжённый, сконцентрированный взгляд, словно устремленный сквозь туннель. Восприятие «с налёта» позволяет видеть отношения, ускользающие пусть и от специализированного, но все же частного наблюдения. Восприятие, чувствительное к пространству и месту, высвобождает отношения, остающиеся неизменными при концентрированном, выборочном рассмотрении. Именно такому времени, как 30-е годы, которые сами по себе представляют эпоху крайностей внутри эры крайностей, наиболее подобает идея тотальной истории, даже если эта идея никогда не была полностью выполнима. Основное усилие, которое должно инвестироваться в эту историю, последовательно расходуется в поиске пути и формы для совместного осмысления крайностей. Преодоление заключённых в этом трудностей оказалось гораздо более серьёзной проблемой по сравнению с проблемой первоисточников. Не недостаток последних, а их огромное изобилие и неисчерпаемое богатство представляют собой серьёзнейший вызов» [там же: 11–12].

Шлегель рассматривает историю насилия в социальном контексте. История насилия сама по себе столь же ложна, сколь и изолированная история индустрии модернизации, киноиндустрии, развлечений. История советской повседневности происходила на фоне целенаправленных акций умерщвления. Все эти истории входят в понятие советского пространства совместного опыта и действия. Эффект такой географии пространства заключается не в смягчении и приглушении противоречий, а в их чёткой разработке.

Лучше всего выражает одновременность и взаимопроникновение насилия и мечты параллельность подготовки к выборам в Верховный Совет 12 декабря 1937 г. и массовой операции по аресту и умерщвлению сотен тысяч людей, начатой в августе 1937 г. Подготовка к «всеобщим, свободным, прямым и тайным выборам» и массовое убийство шли рука об руку. Проведение выборов подразумевало физическое исключение всех сил, которые могли стать опасными для монополии коммунистической партии на власть.

История событий, история повседневности, история умонастроений — все это лишь различные грани и расстановки акцентов. В обыденном сознании существует образ стабильности советской системы. На деле эта «система» была контролируемым хаосом, который

власть специально развязывала ради сохранения самой системы. С этой точки зрения «Власть» — это объединение людей, окопавшихся в нескольких укрепленных опорных пунктах, испытанных и закаленных в Гражданской войне, которые могут погибнуть в любой момент» [там же: 16].

Шлегель строит аналитическую матрицу, на которую надо осмысленно нанести политические события. Речь идёт об имперском времени и пространстве. Ее население было бесконечно далеко от власти и политики. Все твёрдые структуры были ликвидированы на протяжении глубинного переворота, длящегося два десятилетия, а передвижение сделало невозможной какую бы то ни было консолидацию. Для получения адекватного образа жизни в СССР надо изучать страх как конститутивный элемент истории, голод и всеобщее истощение людей, вокзалы, чёрные рынки, очереди, бараки, общежития, формы физического насилия. Именно в этом как раз и отражались основные моменты советской жизни. «До сих пор ужасает, — пишет Шлегель, — как мало мы знаем о более высоком и, прежде всего, среднем руководящем уровне того времени — сцена кажется просто-напросто очищенной от людей» [там же: 18].

«Магический реализм» М. Булгакова открывает пространство для возможностей описания, которые в значительной степени закрыты перед историческими науками: историю распада всего прочного, устоявшегося, пространство фантастического, вовсе не являющегося ирреальным или сюрреалистическим, а реально-фантастическим.

Главными объектами тотальной истории советской модернизации является множество феноменов и процессов, для знакомства с которыми надо целиком проштудировать книгу Шлегеля. Я здесь отмечу только ту часть, которая показалась мне самой интересной.

В 1920–30 годы Москва была полигоном модернизации, огромной стройплощадкой — сталинским генеральным планом в действии. На первый взгляд, эти действия власти были направлены на решение бытовых проблем и потому на благо людей. «При более внимательном взгляде перестройка представляется отчаянной попыткой при помощи всех средств, которые мастер-план предоставляет неограниченной власти — государственных финансов, ноухау планировщиков, инженеров, архитекторов, — противиться элементарному стихийному росту города, обрести твёрдую почву под ногами и найти опору в движении, которое никто не мог контролировать» [там же: 62].

Власть сама спровоцировала рост города. Возник город вне города Генерального плана, на краю города, целиком и полностью состоявший из деревенских иммигрантов. Эти люди держали кроликов, кур, свиней или коров для самообеспечения или на продажу, что хотя и не разрешалось, но было незаменимо для снабжения населения продуктами. За кулисами модернизации Москвы воспроизводилась деревня с сельским образом жизни. Хотя власть стремилась отгородиться от процессов, которые протекали в селе.

Рос наплыв новых горожан. Поэтому Генеральный план реконструкции столицы был не столько грандиозным видением всемогущего государства, приказывающего и планирующего по собственной воле. Сколько чрезвычайным проектом, вызванным безусловной волей к самоутверждению в стране, в которой все пришло в движение. Генеральный план реконструкции Москвы — это акт самоутверждения городской власти против стихийной силы «общества наносного песка» (определение М. Левина).

Такая ситуация создавала ожесточённую борьбу за выживание. Гиперурбанизация ничего кардинальным образом не изменила. Но сделала безграничной и безжалостной всеобщую ненависть, которая через рупоры радио пробивала себе дорогу над площадями города. Общество потеряло опору, структуру и сплочённость. Оно было крайне хрупким, ему угрожал распад, хотя оно нуждалось в сплочённости. Население столицы — это миллионы людей, вытолкнутых из своей жизненной колеи и нигде больше не чувствовавшие себя своими. «Все

было в принципе готово к тихой гражданской войне, к борьбе всех против всех, почти за каждым индивидом скрывалось давление отчаянной борьбы за выживание... С этими людскими потоками в большой город пришло увеличенное в миллионы раз знание, накопленное в борьбе за выживание. Там оно и хранилось в скрытом состоянии» [там же: 68].

Но люди исчезали. Для анализа процессов исчезновения людей Шлегель анализирует адресную книгу Москвы за 1936 г. Адресные книги являются документом своего времени, изображением статус-кво. Они входят в состав топографии власти. В адресной книге было отражено многообразие общественных, полугосударственных структур и объединений. На этой основе можно не только получить представление о том, какой богатой была жизнь горожан, но и о том, какое насилие было пущено в ход, чтобы подчинить, нивелировать и унифицировать это общество. Именно в Москве произошла унификация книжного искусства: сотни журналов и газет стали повиноваться единым языковым нормативам, репертуары театров приведены в соответствие с указаниями свыше, библиотеки и книжные магазины стали вычищаться от книг, не соответствующих «духу времени». То же самое относится к музеям, сотням школ и тысячам учащихся, которые почувствовали себя обязанными следовать новому канону. Иначе говоря, насилие было использовано для тотальной бюрократизации общества.

Документы тайной полиции пока не опубликованы. На деле все происходило прозаически. Сотрудник НКВД ходил по домоуправлениям Москвы, выписывал из домовых книг всех лиц с иностранными фамилиями, сдавал их в особый отдел, который выписывал справки на арест.

Главной причиной создания врагов Шлегель считает революции — времена «необузданной мысли» и «своенравия». Вокруг Российской коммунистической партии собралось немало индивидов, сохранивших свободу мысли. Однако двурушничество, смесь приспособленчества и своенравия, оппортунизм повседневности не было оригинальной позицией и не ограничивалось политической сектой. Двурушничество было душевным состоянием, образом жизни внутри партии, в ее ближайшем окружении и повсюду, где обычные граждане сталкивались с далёкой и слепой по отношению к реальной жизни властью. «Двоемыслие было в эпоху перелома не эксцентрической и маргинальной точкой зрения, а позицией мейнстрима, которая пыталась расположить на одной линии своенравие и компромисс» [там же 97–98].

Шлегель дает оригинальную трактовку генезиса советского патриотизма. Час рождения советского патриотизма пробил задолго до начала Великой Отечественной войны. Важнейший материал для его формирования — не имперская ностальгия, а «самоутверждение страны, ввергнутой в процесс модернизации среди мира, потрясаемого военными осложнениями и агрессией» [там же: 130]. Из Первой мировой и Гражданской войн вышла новая нация. Ее прочно связал могущественный и дисциплинирующий страх перед возвращением в «смутное время». Не будь военной динамики и опасности войны, сталинскому руководству следовало бы их выдумать. Реализованной выдумкой стала ситуация в Испании. На основе анализа гражданской войны в Испании Шлегель показывает экстерриториальность НКВД, которое утверждало, что войну против Франко можно выиграть только в том случае, если сначала будет покончено с «внутренними врагами» — анархистами, троцкистами, синдикалистами. «Внутренних врагов» уничтожили, а Франко победил.

Отсюда вытекает парадокс: власть, во всех и каждом виде действия вражеских агентов; но когда вермахт развернулся на государственных границах, была слепа на грани предательства в распознавании врага. Народ раньше власти увидел реального врага, а не измышления на эту тему, которые были необходимы правящей клике для сохранения власти. «Без учёта страха перед началом новой войны и без эскалации этого страха бессовестной властью, невозможно понять, откуда взялись демоны насилия внутри советского общества» [там же: 130–131].

В 1937 г. была проведена перепись населения. Но ее результаты были скрыты, а организаторы уничтожены. Перепись отразила демографическую катастрофу, которая произошла в результате коллективизации и вызванного ею голода. Общество было крайне неоднородным, анархическим, своенравным. Советское руководство разрушило аналитическую матрицу, на которой обозначались контуры страны и ее населения. Тем самым оно лишилось инструмента для интерпретации происходящего. В результате исчезла способность к общественному самоанализу. Ослеплённому руководству оставалось только паническое упреждение событий посредством насилия [там же: 140–157].

В период травли Промпартии геолог Василий Орлов повесился в 1931 г. в Ростовской тюрьме, не выдержав пыток [там же: 214]. В 1935–38 гг. прошла волна самоубийств советских руководителей. На основе анализа этих смертей Шлегель анализирует тему самоубийство как оружие. По отношению к самоубийству в большевистской партии существовала генеральная линия: восходящая к Просвещению позиция, согласно которой люди могли сами принимать решение о своей судьбе, в том числе жизни. Такой подход практиковался в русском радикализме конца XIX — начала XX в. (особенно после поражения революции 1905 г.). Но в целом самоубийство отвергалось, хотя оно встречалось в марксистской традиции как акт отчаяния индивидов, не устоявших под давлением классово-борьбы.

Новая партия возникла в ходе двойного процесса: высвобождение недовольства, критики, массового движения; уничтожении остатков старой партийной элиты. «Именно благодаря связи террора снизу с террором сверху руководящая группа вокруг Сталина и утвердила свою власть» [там же: 248].

Физкультурник и физкультурница стали иконами нового времени. «Спартак» — «Динамо» были клубами армии и НКВД. Стадионы были единственным местом, где можно было безнаказанно кричать «Бей энкаведешников!» — ведь речь шла о спортивной команде, а не о политическом боевом кличе.

Модернизация была одновременно средством усиления террора. Радио способствовало созданию большого советского эмоционального сообщества. Благодаря ему коллективы (заводские собрания, демонстрации, парады) превратились в сообщества воли, готовые к уничтожению. Возник опыт, согласно которому ни одна точка в мире не даёт больше возможности спастись бегством от политического и идеологического насилия.

На основе анализа подготовки и проведения XVII международного геологического конгресса в Москве и лагерей для строительства каналов Шлегель заключает: «Возникла *гармония науки и террора*, специалистов и принудительного труда, превращение знания об использовании природных богатств в знание об угнетении человека» [там же: 342].

Самолёт как икона прогресса и современности был лучшим способом пропаганды советских стремлений к модернизации. Лётчики стали для целого поколения идеалом, образом советского человека. Советский строй представлял собой разработанный искусственный продукт. В то время сформировался термин «большевистская романтика». Он выражает сочетание невозможности все рассчитать до конца, личного мужества, случая и везения. «Полярная экспедиция, сопряжённая со смертельными опасностями, превращается в символическое средоточие свободы в стране, где сама свобода упразднена» [там же: 376–391].

Шлегель анализирует также мир советской рекламы как элемент модернизации. Особенно показательна глава «Москва как витрина: богатство мира, товарный голод и головокружение от голода». В ней рассматривается официальный путеводитель по Москве 1937 г. Он вышел в издательстве иностранных рабочих для гостей из-за границы и пропагандировал идею: Москва — это рай изобилия. То же самое публиковалось в газетах — от «Правды» до «Вечерней Москвы» целые полосы были заполнены рекламой. То была «реклама товаров и услуг страны, только что пережившей самый ужасный в своей истории голод, и города, где в

начале 1937 г. сотни тысяч, а то и миллионы людей изо дня в день были заняты обеспечением самого элементарного пропитания» [там же: 397]. Изучение советской рекламы включает важные темы: общее и советское соотношение ограниченности и роскоши; реклама и декорация: объекты страстного желания и их инсценировка; головокружение от голода.

Весь мир советской рекламы — тотальная ложь. Урожай 1936 г. был низким. Большая часть жизненной энергии тратилась на приобретение самого обычного продовольствия. Большая часть людей валилась с ног от усталости и утомления. В таких условиях места, находящиеся поблизости от тех инстанций, где принималось решение о доступе к хронически крайне скудным товарам, были с точки зрения статуса гораздо важнее, чем все остальные: «Властная позиция имела решающее значение для обеспечения доступа к крайне скудным ресурсам. Вокруг товаров и услуг разворачивалась ожесточённая и непримиримая борьба... Энергия ненависти 1937 г. буквально струилась из пор населения, почти лишённого рассудка и самообладания» [там же: 402–403].

Весь народ хотел справиться с трудностями. И потому был вынужден воспользоваться обменом и перепродажей, превратившись в коллективного спекулянта. Советская власть была бессильной против чёрного рынка как органа экономической рациональности и против спекулянта как агента чуждой экономики.

Очереди стали повседневностью и породили феномен *интеллигентности очередей*. Интеллигенция формировалась в очередях. Она провоцировала игру в кошки-мышки между милицией и населением — раствориться при появлении милиции и снова собраться при ее исчезновении. В повседневной борьбе за выживание возникал особый психологический настрой гражданина как потребителя. Этот настрой предшествовал всей «политике».

Возникло полное истощение населения, которое без остатка израсходовало свои силы в преодолении проблем повседневности. Именно на основе истощения возможно понять *систему господства*, сложившуюся в 30-е гг. Недостаток элементарных товаров, упразднение всех благ цивилизации и привычек нормальной жизни давили на жизнь людей не меньше, чем репрессия. «Тем же, кто выбирался из худшего состояния, — пишет Шлегель, — натюрморты из шампанского и икры нравились не только как картины счастливого будущего, но уже и как задаток в настоящем. Ограниченность и нужда — столь же важные конституирующие признаки времени, как и ненависть, зависть и изнеможение. Истории 1937 года должна рассказывать и об истории физического и духовного истощения, а также о границах того, что может произойти с людьми по эту сторону террористической власти — в результате расшатывания привычного мира повседневности. Не только индивиды, но и целые общества могут быть «унифицированы». А без такой «унификации общества» общества нет и 37 года» [там же: 404].

В то же время правительство рекламировало круизы по Волге и отпуск на Красной Ривьере в надежде, что в СССР возникнет всемирный центр туризма: интерес к строительству нового общества привлечёт потоки туристов со всего мира.

Москва превратилась в синтез ковчега, спасающего жизнь коминтерновцам, с тюрьмой, из которой нет выхода. Они приехали в страну, где столкновение мнений и направлений давно подавлялось, а каждая самостоятельная точка зрения каралась как проявление оппозиционности. Поэтому коминтерновцы стали тотальными доносчиками, создавая призрачный всемирный заговор.

Специфика советского города переплетена с генезисом советских трудовых коллективов. На примере рабочих автозавода имени Сталина Шлегель анализирует две стороны одного процесса: типичную для иммигрантов парализацию любой солидарности; их превращение в однородную массу, идентифицировавшую себя со своим трудом, предприятием, индустриализацией и формировавшую «патриотизм завода». То же самое относится к «шанхаям» — го-

родам на периферии, месте проживания иммигрантов. Бегство из деревни стало для многих единственным способом выживания в условиях голода и депортаций. Они брали на себя самую грязную, опасную и низкооплачиваемую работу. Фабрики, заводы и пролетарские районы превратились в шлюзовую камеру между деревней и городом, XIX и XX веком.

Пролетарские районы стали местом социальной мимикрии миллионов и готовности приспособиться в условиях чрезвычайного положения, ибо все зависело от возможности найти путь в новое советское общество. Пути назад были отрезаны, оставалось только бегство в новую идентичность. Развитие и формирование рабочего класса с собственной идентичностью имело решающее значение для стабильности страны и режима. Заводы и другие места компактного проживания рабочих были социальными пространствами, «...где иммигранты оказывались предоставлены самим себе и собственной судьбе, территории, где отсутствовало «государство», где чёрный рынок, проституция и насилие представляли собой повседневный опыт, и куда не осмеливалась войти милиция» [там же: 520].

Город был воспитателем «общества наносного песка», абсентеизм — основным явлением повседневности на предприятии. Советские заводы и фабрики были очагами дезорганизации, хаоса, анархии, настоящими ведьмиными котлами дискуссий, критики и постоянного доноительства. Рабочие надеялись, что сумеют очернить и уничтожить ненавистных начальников.

Насилие 30-х годов обладает акустическим образом. Независимо от желания граждан власть через громкоговорители получила доступ к их уху. Такую акустику создавали Л. Утёсов с джазом, И. Дунаевский с массовой песней и Шостакович симфонической музыкой. Сегодня в соответствии с этими образами воспроизводится так называемое «советское прошлое» — т. е. социокультурные комплексы, созданные властью. Москва стала машиной по «штамповке» образов.

Все эти изменения отразились на фотографиях советских людей. «Вырванные из жизни, люди превращались в приложение к полицейским актам» [там же: 546]. Черты их лиц свойственны всем народам Советского Союза и представителям всех профессий. «Эта галерея иллюстраций — не только документ тотальной власти и произвола полицейского государства, его способности к насилию и воли к уничтожению. В секундную вспышку магния фотоаппарат фиксирует также и лицо страны, обречённой на гибель» [там же: 547].

Главными жертвами в количественном отношении были рядовые члены партии и простые люди, вообще не принадлежавшие ни к одной партии — ни к правящей, ни к контрреволюционной. На одном лишь «Электrozаводе» было репрессировано 1000 человек. Параллельно со всеми действиями по модернизации страны работала гигантская машина уничтожения. Для изучения ее результатов в единстве с карательной деятельностью органов НКВД Шлегель вводит понятие социологии братской могилы. В состав такой социологии должно войти изучение всех мест массовых захоронений советских граждан (по примеру Катюни). Шлегель проанализировал состав останков казнённых в 1937 г. и захороненных на Бутовском полигоне. Оказалось, что там лежат люди, не имевшие ничего общего с политикой и номенклатурой. Самую большую группу убитых составляют рабочие, служащие, крестьяне (примерно две трети жертв). Затем идут по убыванию следующие группы: православное духовенство и представители других религиозных общин; национальные группы (поляки, латыши, немцы); представители старой элиты и небольшевистских партий и группировок; заключённые строители канала Москва-Волга; группа «асоциальных» и инвалидов, уничтоженных, чтобы освободить места в тюрьмах. Цифры ясно свидетельствуют: большинство жертв советской власти и авторитарной модернизации происходило не из рядов «старой гвардии», не из политического истеблишмента, а из массы простого населения [там же: 600].

В заключение Шлегель констатирует, что за катастрофой 1937 г. по прошествии всего лишь трех лет последовала ещё большая: «За историей, рассказанной здесь, должна была бы последовать другая, посвящённая грядущей войне, едва не наступившей гибели страны и ее спасению, когда одна трагедия исчезает в тени другой, ещё большей» [там же: 613]. Иначе говоря, война стала занавесом, который закрывает деятельность государственной власти.

### **Выводы**

Для понимания проблемы государственного насилия как элемента модернизации надо учитывать, что в общественном сознании слабо представлена память о преступлении государства. Память о войне как трагедии подменена памятью о победе. В итоге память о государственном насилии оказалась на периферии массового сознания. Политическая бюрократия утверждает заведомую правоту государственной власти. До сих пор основная масса населения России считает, что власть способна высказывать авторитетное мнение, которое приобретает характер объективной реальности. Отношение к сталинскому мифу — индикатор степени модернизованности российского общества. В советское время партия, армия и спецслужбы стали новым эксплуататором. Советское государство не имеет отношения ни к модернизации, ни к марксовому социализму и коммунизму. В репрессивных органах сложилась особая полицейская точка зрения на факты и события социальной действительности, которая способствовала выдвижению полиции на роль ключевого агента социального бытия. Категории науки в 1930-е гг. многое переняли у административных и полицейских организаций. Социальные науки превратились в «легалый марксизм» (А. Зиновьев). Обнаружение национальных различий — это знание на службе государства. Во взглядах  $\frac{2}{3}$  населения современной России сохранилась имперская компонента. Поэтому требуется разработка и внедрение различных концептуальных и организационных форм социального иммунитета и сопротивления существующей власти. В постимперских обществах и государствах требуется также учитывать различие между неповиновением, приспособлением и коллаборационизмом.

Существует асимметрия между осмыслением исторической катастрофы в СССР и осмыслением нацистских преступлений. Для ее преодоления надо отвергнуть любые способы рационализации советского прошлого и его отождествления с модернизацией на уровне страны и региона. Концепция тотальной истории позволяет рассматривать насилие как универсальное средство, пронизывающее все сферы общества, подвергаемого модернизации. Политическая география сталинизма может базироваться на разработке всех противоречий социальной жизни. Лучше всего выражает взаимопроникновение насилия и мечты параллельность электоральных процессов и массовых репрессий. Надо изучить, как влияет на электоральное поведение современных россиян одновременность подготовки выборов и проведение массовых акций по уничтожению. Советская система была контролируемым хаосом, который власть развязывала ради сохранения самой системы. Для адекватного представления о советской модернизации надо изучать страх, голод, всеобщее истощение людей, вокзалы, чёрные рынки, очереди, бараки, общежития, формы физического насилия. Именно в этом отражались основные моменты советской жизни. Особенно важно описание среднего уровня советской власти, подписывающего приказы на уничтожение в каждом областном городе (тройки).

Модернизация — это история распада всего прочного, устоявшегося. Власть осуществляла модернизацию ради обеспечения собственной полной бесконтрольности. Все планы власти были чрезвычайными проектами. Такая ситуация создавала ожесточённую борьбу за выживание. Модернизация — это тихая гражданская война, многократно усиленная абстракция первобытного состояния войны всех против всех.

Власть насильственно создала такую ситуацию, а затем использовала насилие для тотальной бюрократизации общества. Результатом стал универсальный оппортунизм. Советский патриотизм не связан с революцией и советско-германской войной, а со всеми свойствами советской модернизации. В СССР возникла гармония науки и террора, специалистов и принудительного труда, превращение знания об использовании природных богатств в знание об угнетении человека. Авиация и реклама как элемент модернизации были тотальной ложью. Надо исходить из полного истощения населения при преодолении проблем повседневности. На основе такого истощения можно понять систему советского господства как элемент модернизации, которая породила унификацию общества.

Советский город переплетён с генезисом советских трудовых коллективов и пролетарских районов. Они стали местом социальной мимикрии миллионов и готовности приспособиться в условиях чрезвычайного положения. Советские заводы и фабрики были очагами дезорганизации, хаоса, анархии, дискуссий, критики и доносительства. С помощью радио власть получила доступ к уху граждан, независимо от их желания. Акустический образ насилия создавали Л. Утёсов со своим джазом, И. Дунаевский с массовой песней и Д. Шостакович симфонической музыкой. Сегодня в соответствии с этими образами воспроизводится так называемое «советское прошлое» — т. е. социокультурные комплексы, созданные властью. Действительно, столица стала машиной по штамповке образов.

Параллельно с модернизацией страны работала машина уничтожения. Поэтому советскую модернизацию надо изучать в единстве с карательной деятельностью органов НКВД, и разрабатывать социологию братской могилы. Идея трагичности позволяет сделать человеческие потери модернизации важным аспектом социального анализа. Поэтому возникает проблема использования методологии учёта военных потерь при анализе модернизации как социальной войны государства с населением.

Стало быть, память о государственном насилии в прошлом и формах его проявления в настоящем надо сделать исходным пунктом анализа всех социальных проблем. Региональная история и другие социальные науки могут быть следствием применения этих посылок.

---

Адлер Н. 2011. Особенности исследовательской работы над биографиями жертв сталинизма. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 672–679.

Блюм А. 2011. Администраторы, научные элиты и отношения с властью. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 78–92.

Гудков Л.Д. 2011. Российский миф о Сталине. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 680–696.

Дробужева Л. 2011. Сталинское наследие национальной политики в массовом сознании современных россиян. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 608–614.

Зубок В.М. 2011. *Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева.* — М.: РОССПЭН.



Илизаров Б.С. 2011. Утопизм, новаторство и архаика в сталинском имперском строительстве (о социальном конструктивизме). — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 615–631.

История сталинизма... 2011. *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина».

Кадио Ж. 2011. От списка групп к индивидам: этническая идентификация в Российской империи при Сталине. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 632–639.

Кондратьева Т.С. 2011. *Кормить и править: о власти в России XVI–XX века.* — М.: РОССПЭН.

Макаренко В.П. 1998. *Русская власть: теоретико-социологические проблемы.* — Ростов-на-Дону: Изд. СКНЦ ВШ.

Макаренко В.П. 2001. *Цикл работ 1985–2000 гг. по фундаментальным проблемам политической науки.* — Доступно: <http://lib.sibnet.ru/book/2544>. — Проверено: 03.04.2014.

Милов Л.В. 1998. *Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса.* — М.: РОССПЭН.

Неретина С. 2012. Были ли контрреволюционеры революционерами? — *Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований.* — № 2. — Доступно: <http://politconcept.sfedu.ru/2012.2/10.pdf>. — Проверено: 03.04.2014.

Олейник А.Н. 2011. *Власть и рынок: система социально-экономического господства в России «нулевых» годов.* — М.: РОССПЭН.

Осокина Е.А. 2011. О социальном иммунитете, или критический взгляд на концепцию пассивного (повседневного) сопротивления. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 387–406.

Пивоваров Ю.С. 2006. *Русская политическая традиция и современность.* — М.: ИНИОН РАН.

Рогинский А. 2011. Память о сталинизме. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 21–27.

Соколов Н. 2011. Реабилитация сталинизма в российских школьных учебниках. — *История сталинизма: итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г.* — М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». — С. 735–737.

Шлегель К. 2011. *Террор и мечта. Москва, 1937.* — М.: РОССПЭН.